

*Посвящается
отцу Беде Гриффитсу¹*

¹ Беда Гриффитс (в миру Алан Ричард Гриффитс, 1906—1993) — ученик и друг Льюиса, монах-бенедиктинец, зачинатель диалога между христианством и индуизмом, многие годы провел в Индии, в ашраме. — *Здесь и далее, кроме отдельно оговоренных случаев, примеч. пер.*

Настигнут радостью — нетерпелив, как ветер.

Вордсворт¹

Предисловие

Эта книга написана отчасти в ответ на вопросы о том, как я пришел от атеизма к христианству, отчасти же для того, чтобы исправить некоторые неверные мнения. Окажется ли она столь же важной для читателя, как для меня самого, зависит от того, приобщен ли читатель к тому, что я назвал «Радостью». Даже если этот опыт достаточно распространен, мне кажется, он заслуживает более подробного изучения, и я отваживаюсь писать о нем, поскольку не раз убеждался: стоит человеку упомянуть о самых сокровенных и любимых переживаниях, и непременно найдется хотя бы один слушатель, который откликнется: «Как! Неужели и вы тоже?.. Я-то думал, я один такой».

Книга излагает историю моего обращения; это не автобиография и уж ни в коем случае не «Исповедь», как у Августина, тем более как у Руссо. Чем дальше продвигается повествование, тем очевиднее оно расходится с «нормальной» автобиографией: в первых главах сеть раскинута как можно шире, чтобы к тому моменту, когда наступит духовный кризис, читатель уже знал, каким человеком сделали меня мое детство и отрочество. Завершив «фундамент», я перехожу прямо к теме, опуская все факты (сколь угодно важные для обычной биографии), которые не относятся к ней. Невелика потеря: в любой из-

¹ Уильям Вордсворт (1770—1850) — английский поэт-романтик. Стихотворение обращено к умершей дочери.

вестной мне автобиографии интереснее всего главы, посвященные первым годам жизни. Боюсь, что мой рассказ выйдет удручающе личным; ничего подобного я прежде не писал и, скорее всего, не стану писать и впредь. Я постарался выстроить уже первую главу так, чтобы читатели, которым подобное чтение противопоказано, поняли сразу, во что их втягивают, закрыли книгу и не тратили время понапрасну.

I. Первые годы

Вы счастливы, но на короткий срок.

Мильтон¹

Я родился зимой 1898-го в Белфасте, мой отец — юрист, мать — дочь священника. У моих родителей было только двое детей (оба — мальчики), причем я почти на три года младше брата. В нас соединились два очень разных рода. Мой отец первым в своей семье получил высшее образование: его дед был фермером в Уэльсе; его отец, самоучка, в молодости работал на заводе, потом эмигрировал в Ирландию и к концу жизни стал совладельцем фирмы «Макилвейн и Льюис, Изготовители паровых котлов, инженеры и строители пароходов». Моя мать, урожденная Гамильтон, принадлежала к роду священников, юристов и морских офицеров; ее предки со стороны матери, Уоррены, гордились происхождением от нормандского рыцаря, погребенного в Баттлском монастыре². Столь же разными, как и происхождение, были и характеры моих родителей. Родня отца — подлинные валлийцы, сентиментальные, страстные, склонные к риторике, легко поддающиеся и гневу и любви, они много смеялись, много

¹ Джон Мильтон. «Потерянный рай», IV, 370. Перевод А. Штейнберга. Эти слова Сатана произносит, взирая на блаженство Адама и Евы в Эдеме.

² Battle Abbey, то есть «монастырь битвы», был построен на месте битвы при Гастингсе (1066), в результате которой Вильгельм Завоеватель стал королем Англии.

плакали и совсем не умели быть счастливыми. Гамильтоны — более сдержанная порода, они ироничны, пронизательны и в высшей степени одарены способностью к счастью; они направляются к нему напрямиком, как опытный путешественник к лучшему месту в вагоне. С ранних лет я чувствовал огромную разницу между веселой и ровной лаской мамы и вечными приливами и отливами в настроениях отца. Пожалуй, прежде чем я сумел подобрать этому определение, во мне уже закрепилось некое недоверие, даже неприязнь, к эмоциям — я видел, как они неуютны, тревожны и небезопасны.

По тем временам мои родители считались людьми «умными», начитанными. Мама с юности проявляла способности к математике, получила степень бакалавра в Королевском Колледже (Белфаст) и незадолго до смерти сама начала обучать меня французскому и латыни. Она с жадностью набрасывалась на хорошие романы, и я думаю, что доставшиеся мне в наследство тома Толстого и Мередита купила именно она. Вкусы отца заметно отличались от маминых: он увлекался риторикой и в молодости выступал в Англии с политическими речами; будь он «джентльменом с независимыми средствами», он бы, несомненно, избрал политическую карьеру. Если б не донкихотское чувство чести, он бы, пожалуй, мог преуспеть в парламенте, поскольку обладал многими из требовавшихся тогда качеств — внушительной внешностью, звучным голосом, подвижным умом, красноречием и отличной памятью. Отец любил политические романы Троллопа¹; как я теперь догадываюсь, прослеживая карьеру Финеаса Финна, он тешил собственные желания и мечты. Он увлекался поэзией, риторикой

¹ Энтони Троллоп (1815—1882) — автор «Хроник Барчестера» (Барсетшира), многотомного повествования о жизни провинциальных священников и помещиков, и романов о Финеасе Финне, ирландском члене парламента.

ческой и патетической, — из всех пьес Шекспира он предпочитал «Отелло». Ему нравились почти все юмористы, от Диккенса и до У. У. Джейкобса, и сам он был непревзойденным рассказчиком, одним из лучших рассказчиков особого склада — тех, кто поочередно перевоплощаются в каждого своего персонажа. Как он радовался, когда ему выпадало посидеть часок-другой с братьями, обмениваясь «байками» (так в нашей семье почему-то называли анекдоты)! Ни отец, ни мама не любили тех книг, которые я предпочитал с того самого момента, как научился выбирать их сам. Их слуха не коснулся зов волшебного рога страны эльфов¹. В доме не водилось стихов Китса или Шелли, томик Кольриджа, насколько мне известно, никто не раскрывал, так что если я вырос романтиком, мои родители за это ответственности не несут. Правда, отец почитал Теннисона, но как автора «Локсли-холла»; я не услышал из его уст ни строчки из «Лотофагов» или «Смерти Артура». А мама, как мне говорили, и вовсе не любила стихи.

У меня были добрые родители, вкусная еда, садик, где я играл — он казался мне огромным; было и еще два сокровища. Первое — это няня, Лиззи Эндикотт, в которой даже взыскательная детская память не обнаружит изъяна: ничего, кроме доброты, веселья и здравомыслия. Тогда еще не додумались до «ученых бонн», и благодаря Лиззи мы проросли корнями в крестьянство графства Даун и принадлежали таким образом к двум очень разным социальным мирам. Вот почему я с самого начала жизни избавлен от распространенного предрассудка — отождествления манер и сущности. С младенчества я твердо знал, что есть шутки, которыми можно поделиться с Лиззи, но которые совершенно неуместны в гостиной; и столь же твердо я знал, что Лиззи — очень хорошая.

¹ «Волшебный рог страны эльфов» — аллюзия на стихи Альфреда Теннисона (1809—1892), символ романтизма.

Вторым подарком судьбы я назову брата. Он был тремя годами старше, но никогда не вел себя как «большой», мы рано сделались товарищами, даже союзниками, хотя похожи не были. Это заметно и по нашим первым рисункам (не помню времени, когда мы не рисовали). Из-под кисти брата выходили поезда, корабли, я же (если только не брался ему подражать) создавал то, что мы называли «одетыми зверюшками», то есть человекообразных животных, как в детских книжках. Брат рано перешел от рисования к сочинительству; его первое произведение называлось «Юный раджа». Так он присвоил себе Индию, а моим уделом стала сказочная Зверландия, Страна Зверюшек. От первых шести лет моей жизни, о которых я веду рассказ, рисунков не сохранилось, но я сберег множество картинок, нарисованных ненамного позже. Мне кажется, они подтверждают, что по этой части я был способнее брата: я рано научился изображать движение, мои фигурки бегали и сражались, и с перспективой все в порядке. Но ни у меня, ни у брата не найдется ни единого рисунка, ни единой черты, вдохновленной порывом к красоте, сколь угодно примитивной. Здесь есть юмор, действие, изобретательность, но нет потребности в стройном замысле, и к природе мы равнодушны до слепоты. Деревья торчат, точно клоки шерсти, насаженные на спицы, — можно подумать, мы не видели листьев в том самом саду, где играли ежедневно. Теперь я понимаю, что «чувство прекрасного» вообще обошло стороной наше детство. На стенах нашего дома висели картины, но ни одна из них не привлекала, и, по совести говоря, ни одна и не заслуживала внимания. В окрестностях не было красивых домов, и мы не подозревали, что дом может быть красивым. Мои первые эстетические впечатления (да и можно ли назвать их эстетическими?) не были восприятием формы и страдали неизлечимым романтизмом. Однажды, на заре времен, брат принес в детскую крышку от жестянки

из-под печенья, которую он выложил мхом и разукрасил ветками и цветами, превратив то ли в игрушечный садик, то ли в лес. Так я впервые встретился с красотой. Настоящий сад не давал мне того, что дал игрушечный. Только тогда я почувствовал природу — не склад красок и форм, но прохладную, свежую, влажную, изобильную Природу. Вряд ли я понял все это сразу, но в воспоминаниях этот садик стал бесконечно важным, и, пока я живу, даже рай представляется мне похожим на игрушечный сад брата. Еще мы любили «Зеленые горы», то есть приземистую линию холмов Каслри, которую видели из окна детской. Они были не так уж далеко, но для ребенка казались недостижимыми, и, глядя на них, я испытывал то непостижимое стремление (*Sehnsucht*¹), которое, к добру или худу, превратило меня в рыцаря Голубого Цветка² прежде, чем мне сравнялось шесть лет.

Если эстетических впечатлений было мало, то религиозных не было вовсе. Кое-кто из моих читателей решил, что меня воспитали строгие пуритане, — ничего подобного! Меня учили самым обычным вещам, в том числе — повседневным молитвам, и в урочное время водили в церковь. Я воспринимал все это покорно и без малейшего интереса. Моего отца отнюдь нельзя считать образцовым пуританином; более того, с точки зрения Ирландии девятнадцатого века он тяготел скорее к «высокой церкви»³. Его отношения с религией, как и с поэзией, полностью

¹ *Sehnsucht* (нем.) — томление, страстное желание, тоска о недостижимом.

² Голубой Цветок — один из основных символов немецкого романтизма. Впервые появляется в романе Новалиса «Генрих фон Офтердингер» (1800). Ср. у Гумилева: «И, может быть, рукою мертвеца/Я лилию добуду голубую».

³ Высокая церковь — направление англиканского протестантизма, сохраняющее католическую обрядность, в отличие от пуританизма и «низкой церкви», решительно порывающих с католицизмом.

противоречат тем, что со временем сложились у меня. Отец с наслаждением впитывал обаяние традиции, древнего языка Библии и молитвенника; у меня этот вкус развился гораздо позднее и с трудом. Зато мало нашлось бы равных отцу по уму и образованию людей, которых столь же мало волновала бы метафизика. Не знаю, во что верила мама. Мое детство никак не отмечено духовным опытом, в нем не было даже пищи для воображения, кроме игрушечного садика и Зеленых холмов. В моей памяти ранние годы сохранились как пора бытового, заурядного, прозаического счастья, они не пронзают меня мучительной ностальгией, с какой я вспоминаю куда менее благополучное отрочество. Тоскую я не о надежном счастье, а о внезапных мгновениях радости.

В том детском блаженстве был лишь один темный уголок. С младенчества меня мучили страшные сны. Это часто бывает с детьми, и все же странно, что в детстве, когда тебя лелеют и оберегают, может открыться окошко в ад. Я различал два вида кошмаров — с призраками и с насекомыми. Особенно пугали насекомые, в те годы я предпочел бы повстречать привидение, чем тарантула. Даже сегодня этот страх кажется мне вполне естественным и оправданным. Оуэн Барфилд¹ как-то сказал мне: «Насекомые так противны оттого, что у них весь механизм снаружи, словно у французского локомотива». Да, дело именно в *механизме*. Эти угловатые сочленения, дерганый шаг, скрипучий металлический скрежет похожи на оживающую машину или, хуже того, на жизнь, выродившуюся в механику. К тому же муравейник и пчелиный рой воплощают два наиболее опасных, по мнению многих, состояния и для нашего вида — власть коллектива и власть женщин. Стоит отметить один случай, связанный с этой фобией. Много лет спустя, уже подростком,

¹ Оуэн Барфилд (1898—1997) — писатель, филолог, друг Льюиса, один из инклингов.

я прочел книгу Леббока «Муравьи, пчелы и осы» и на какое-то время всерьез, по-научному заинтересовался насекомыми. Другие занятия вскоре отвлекли меня, но за «энтомологический» период я практически избавился от своих страхов. Думаю, что подлинный, объективный интерес и должен иметь такое действие.

Наверное, психологи не согласятся признать, что причиной кошмаров была отвратительная картинка в детской книжке, но так считали в те простодушные времена. Мальчик-с-пальчик забрался на поганку, а снизу ему грозил жук-олень, заметно превосходивший его ростом. Это страшно само по себе, но хуже другое: рога у жука были сделаны из полосок картона, отделявшихся от страницы и поднимавшихся вертикально вверх. С помощью какого-то дьявольского устройства на обратной стороне картин-ки рога приводились в движение, они распахивались и защелкивались, точно ножницы — клип-клап-клип! Я и сейчас, когда пишу, вижу их перед собой. Не понимаю, как могла наша разумная мама допустить в детскую такую гадость. А может быть (сомнение вдруг охватило меня), сама эта книга — порождение моего кошмара? Нет, не думаю.

В 1905 году, когда мне исполнилось семь лет, произошла первая великая перемена в моей жизни: мы переехали в Новый дом. Отец, по-видимому, преуспевал и поэтому решил покинуть коттедж, в котором я родился, и выстроить настоящий дом подальше от города. «Новый дом», как мы долго его называли, был очень велик даже по моим нынешним меркам; ребенку он казался чуть ли не целым городом. Надуть отца ничего не стоило, и строители бессовестно его обманывали: канализация никуда не годилась, все каминные дымоходы, в комнатах гулял сквозняк. Но все это детям не важно; зато переезд расширил фон нашей жизни. Новый дом станет одним из главных героев моей истории. Я воспитан его бесконечными коридорами, пустыми, залитыми солнцем комнатами, чердачной